



Л. Б. КАМЕНЕВ

А. Герцен

<Фрагменты>

В конце [18]59 года, т. е. в самый разгар обсуждения крестьянской реформы, А. И. Герцен, характеризуя состояние западноевропейского и американского мира как «кораблекрушение», как «темную ночь», в которой нигде не найти «ни совета, ни помощи, ни указания, ни маяка», спрашивал: «Что может внести в этот мрак русский мужик, кроме продымленного запаха черной избы и дегтя?».

«Вот подите тут и ищите справедливости в истории,— продолжал Герцен,— мужик наш вносит не только запах дегтя, но еще какое-то допотопное понятие *о праве каждого работника на даровую землю*, (кур[сив]. Герцена) <...> Право каждого на пожизненное обладание землей до того вросло в понятия народа русского, что, переживая личную свободу крестьянина, закабаленного в крепость, оно выразилось, по-видимому, бессмысленной поговоркой: *Мы господские, а земля наша...* Счастье, что мужик остался при своей нелепой поговорке. Она перешла в правительственную программу или, лучше сказать, в программу одного человека в правительстве, искренно желающего освобождения крестьян, т. е. Государя. Это обстоятельство дало, так сказать, законную скрепу, «*государственную санкцию народному понятию*».

В чем же, по мнению Герцена, задача эпохи, в которой «государственная санкция» дана «народному понятию»?

Герцен отвечает на этот вопрос в той же статье, из которой мы сделали сейчас прочитанную читателем выписку. «Задача новой эпохи, в которую мы входим, состоит в том, чтоб на основаниях науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до новой свободы лица, *минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плутаясь по неизвестным путям, развитие Запада*».

«Сбиться с дороги, когда она так ясна — было бы великое несчастье и великое преступление», — думает Герцен, и спрашивает: «Что же мешает России идти по новой дороге, не “плутаясь” по-западному? “Войско?” — “Нет”. “Барство?” — “Нет”».

«Вот кого мы боимся, опять-таки *русских немцев и немецких русских*; ученых друзей наших, западных доктринеров, донашивающих старое платье с плеч политической экономии, правоведенья и пр., централизаторов по-французски и бюрократов по-русски... Они собьют с толку власть<...> и широкое, едва складывающееся общественное мнение... Если они одолеют, они помешают взойти тем всходам чистонародного устройства, которому стоит не мешать, чтоб урожай был хорош; а улучшения, которые они принесут нам, хотя и будут улучшения, но с ними разве можем надеяться, века чрез полтора, дойти до того состояния, из которого Пруссия стремится теперь выйти».

Эти слова Герцена как нельзя более точно рисуют позицию, на которой стояла в эпоху «освобождения» одна — и влиятельнейшая — группа передовой русской интеллигенции. Чтобы пояснить ее еще более, остается спросить себя — против чего протестует Герцен, чего, собственно, он боится? Что общего у тех русских немцев и «немецких русских», о которых говорит он здесь?

Общее — в *немецком* элементе. А этот *немецкий* элемент в своем противопоставлении «России» и ее «народным началам» — есть не что иное, как капитализм с его буржуазными свободами и классовой борьбой.

Если оставить в стороне неоправдываемую даже идеалистическим взглядом на историю наивность того соображения, что «немцы» одолеют, «сбив с толку власть и общественное мнение», то слова Герцена говорят о том, что он

«боятся» проникновения капитализма в русские отношения. Впрочем, сам Герцен совершенно точно указал то, чего он «боялся» в [18]59 году, когда через десять почти лет, обозревая свою политику за это время, писал: «Мы были глубоко убеждены, что аграрные основания нашего сельского быта выдержат напор *западного изуверства* собственности. Дело, значит, было не в “немцах”, а в капиталистической, буржуазной цивилизации З[ападной] Европы, вообще».

Отрицая и «боясь» развития капитализма, не видя, что он уже в то время был *фактом* в России, не замечая того, что сама реформа 19 февраля была лишь уступкой крепостной России — России буржуазной, Герцен должен был построить всю свою положительную программу на понятиях и формах докапиталистической России.

«Право на землю», о котором Герцен в [18] 59 году писал, что «оно больше, чем право, оно — факт», и что «крестьянин его мерит десятинами», — было «фактом» докапиталистической Руси, фактом, разложению которого не могла помешать никакая «государственная санкция», сколько бы она ни пыталась эксплуатировать этот «факт» в своих интересах*.

Это, с одной стороны. С другой же, отказываясь от тех «улучшений» политических форм, которые сопутствовали на Западе капиталистической фазе хозяйства, Герцен столь же неизбежно должен был апеллировать к традиционной власти как к элементу, могущему стать во главе дела «чисто народного устройства», вести народные массы по новому, неевропейскому пути, дать «государственную санкцию народному понятию».

Эту мысль мы видели уже в вышецитированных строках. К обоснованию этой мысли он возвращался неоднократно, всякий раз находя ей опору в том, что «традиционная власть у нас *только власть* <...> содержания в ней нет», в том, что она социально *пуста* и может сделаться тем или другим...

* Мы увидим сейчас, что в этой quasi-социалистической формуле Герцена были не только quasi-социалистические «слова», но и элементы *радикального* решения крестьянского вопроса. Не замечать из-за первых *второго*, т. е. отражения в них действительных интересов крестьянства, было бы громадной ошибкой против истории.

Исследуя природу власти, Герцен очень широко очерчивал круг ее возможностей, обусловленных именно ее социальной *пустотой*, свободой самоопределения, — «от татарского халата до французского комитета общественного спасения».

Протестуя против одной якобинской прокламации, вышедшей в России¹, Герцен еще в конце [18]62 года оставлял открытым вопрос о характере традиционной власти, рекомендуя *подождать* «ее ответа».

Не менее определенно и в том же смысле высказывался в то время и М. Бакунин в своем первом законченном произведении, написанном им по возвращении в Европу. «Мы, — писал последний, — потому охотно стали бы под знаменем (традиционной власти) <...> что сила ее создана, готова на дело и могла бы сделаться непобедимой силой», став во главе нового пути России*.

Во всяком случае, всякий другой путь, *путь разрыва* Герцен считал наименее желательным.

Совершенно естественно, что видя в экономической отсталости преимущество России перед Западом** и пытаясь охранить это преимущество, Герцен должен был прийти к тому, чтобы и в политической отсталости России видеть своеобразную гарантию желанного исхода крестьянского дела. Свободно самоопределяющаяся традиционная власть казалась ему гораздо более приспособленной к восприятию всякого, частичного и полного, экономического переворота, чем какая-либо другая форма власти.

«Чем прочнее и больше выработаны политические формы, законодательство, администрация, чем дороже они достались, тем больше препятствий встречает экономический переворот. Во Франции и Англии ему представляется больше препятствий, чем в России». Таким образом, борьба за новые

* Как известно, М. Бакунин порвал с этим представлением уже в [18]63 году. Герцен не порывал с ним окончательно никогда.

** В другом месте Герцен писал: «Большее счастье, что наше право на землю так поздно приходит к сознанию. Оно прежде не выдержало бы одностороннего напора западных воззрений!» Это уже не далеко от знаменитого рецепта известного реакционера К. Леонтьева — «подморозить Россию», чтобы не разлагалась.

политические формы могла только *удорожить* экономический переворот, сделать его затруднительнее.

Эти общие соображения Герцена должны были, конечно, сказаться и в приложении к данному конкретному случаю, к роли правительства в деле крестьянского «освобождения». Оно рисовалось ему одновременно защитником народных масс против крепостнических поползновений дворянской олигархии и охранителем «нашего бытового, непосредственного социализма» от разлагающих начал буржуазного либерализма... Герцен так и не догадался, что «власть» не оправдала его ожиданий в обоих направлениях: она проводила буржуазную по существу реформу в интересах поместного сословия и его руками.

Как мы видим, Герцен сохранил все «ценности» докапиталистической Руси, лишь поставив им чуждые им цели.

Утопия крестьянской монархии на основе культивирования и развития «народных начал» могла стать реальным фактором политической жизни не в руках Герцена, а лишь в руках того самого дворянства, против которого думал направить ее Герцен. Она и в действительности стала орудием укрепления противоположных тенденций, и дворянские публицисты не один раз эксплуатировали ее в своих целях. Она, правда, потеряла в их руках всякую связь с социалистической тенденцией Герцена, но зато совершенно явственно выступила ее изначальная охранительная тенденция.

Мы не можем здесь следить за всеми теми промахами в «тактике» Герцена, которые неизбежно должны были вытечь из подобного положения. Достаточно указать на «общий принцип» этих ошибок. А этот «общий принцип» достаточно ясно выражен самим Герценом. В [18]65 году — значит уже после польского движения и в разгаре реакции — Герцен писал в своем четвертом «Письме к путешественнику»: «Буржуазная оспа теперь на череду в России, пройдет и она, как дворянская и конституционная, но для этого не надобно дразнить болезнь и... способствовать ей. Если мы вынесем эти посягательства, (Герцен говорит здесь, между прочим, о замене общинного пользования землей — разделом ее в собственность), не протестуя, мы не будем иметь даже того

извинения, которое имели наши цивилизаторы... Тут место борьбе и облегчению, место энергии и страсти, тут мы должны преследовать, клеймить без усталости и остановки. А вести войну с частными промахами правительства, хотя и должно, но это не может стоять на первом плане».

Это тупик, из которого выхода на арену действительной, а не мнимой борьбы уже нет! И к этому тупику привели А. Герцена социально-реакционные основы его воззрений, основы, в которых он является действительным родоначальником всего нашего народничества.

Но как в активном народничестве, несмотря на его социально-реакционные тенденции, нашли свое выражение *непосредственные* интересы крестьянства в их столкновении с интересами эпитонов крепостнического хозяйства, так и Герцен одной стороной своих воззрений отразил интересы крестьянской массы эпохи «освобождения». Этой стороной была его мысль о «праве на землю».

Для Герцена это было формулировкой *социалистического* начала. Так же продолжают понимать герценовское «право на землю» и современные народники, как это видно, напр., из длинного дифирамба, пропетого этой идее г. Я. Вечевым в цитированном сборнике «Вехи как знамение времени».

Г-н Я. Вечев (его статья «Правовые идеи в русской литературе» помещена в сборнике, в котором приняли участие гг. Ю. Гарденин, Л. Шишко² и др., и потому может считаться точным толкованием идей, господствующих среди наших народников), весьма озабочен обелением русской интеллигенции перед Кистяковским в «Вехах», упрекавшим последнюю в пренебрежении к правовым идеям. Между прочим, он пространно козыряет против этого упрека г. Кистяковского идеей «права на землю», победоносно восклицая в заключение: «Это ли называется пренебрежением к правовому устройству? Это ли — близость к славянофилам в правовых вопросах? Это ли отсутствие в русской интеллигенции всякой правовой идеи?»*.

Нам кажется, что г. Вечев совершенно напрасно принял победоносный вид.

* «Вехи как знамение времени», стр. 194.

Во 1-х, идея «права на землю» принадлежит не социалисту Герцену, а... Ю. Самарину*, как неизвестно г. Вечеву — славянофилу и яркому противнику всяких «измов», кроме истинно русских. Эту идею Ю. Самарина приветствовал Хомяков. Так что обособления от славянофилов здесь еще не получается.

Во 2-х, смысл статьи г. Кистяковского заключается в том, что русская интеллигенция, увлекшаяся социалистическими идеалами, пренебрежительно относилась к постановке правовых и политических вопросов. Был грех, и от него далеко не свободен и Герцен и вся та «преемственная полоса русской общественной мысли», которая, по свидетельству г. Вечева, «подхватила и развила Герценовскую (и Самаринскую.— Ю. К.) мысль». Факт, что русская народническая мысль долгое время страдала аполитицизмом, и корни этого ее аполитицизма лежали в противопоставлении Запада и России. От этого указания на аполитицизм нельзя отделяться ссылкой на то, что к эпохе освобождения крестьян с разных концов всплыла идея «права крестьянина на землю», тем более, когда апология этой мысли, как у г. Вечева, сопровождается недвусмысленной попыткой оживления той же мысли о самобытных путях развития России.

В самом деле, «право крестьянина на землю» не было формулировкой какого-либо нового права. Она лишь формулировала факт господства натурального хозяйства в огромной стране, начавшей приобщаться к западноевропейскому миру. Таким образом в «нерешенный вопрос, перед которым остановилась» капиталистическая Европа, русский мужик «вносил» лишь образец докапиталистического хозяйства, в котором «право на землю» прекрасно уживалось с его состоянием «полудикаря».

Но не имея никакого отношения к «нерешенному спору» между капитализмом и социализмом, «право на землю» было на деле, в конкретных русских условиях, в эпоху «освобождения» крестьян, самой широкой формулировкой интересов крестьян в их противоречии с интересами крепостничества.

* Она формулирована им в докладе лифляндскому комитету в 1846 г.³

Полное признание «права на землю» знаменовало бы признание за крестьянством права на громадный земельный фонд дворянства. И так же как система «отрезков» знаменовала задержку буржуазного развития, эксплуатацию недостаточности этого развития помещиками, господство дворянства, так признание «права на землю», знаменовало бы широкое развитие буржуазного хозяйства, устранение крепостнических остатков с его пути, установление господства мелкобуржуазной демократии. При переходе от крепостного к «свободному» труду, борьба за землю была неизбежна; вынесенное из эпохи натурального хозяйства убеждение «земля — наша» становилось оболочкой реальной борьбы за обладание землей как объектом и орудием товарного хозяйства.

Герценовское «право на землю» было только якобы социалистической идеологией этой борьбы за освобождение России от всех черт крепостнического хозяйства.

Видеть же в формуле Герцена формулировку «социализма» или, как выражается г. Вечев, — «часть целого», «частное проявление» социализма — это значит впадать через 50 лет в ту же ошибку, в которую впадал Герцен, которому его социально-реакционный утопизм мешал видеть реальные очертания того дела, которому он хотел служить.

Формулируя свое «право на землю», Герцен отнюдь не представлял себе, что эта якобы социалистическая формула лишь прикрывает классовые требования крестьянской демократии. Реализация этих требований — а их реализация знаменовала бы широкое, нестесняемое крепостничеством развитие буржуазных отношений — могла явиться лишь в результате широкой классовой борьбы. Но Герцен был очень далек от принципа классовой борьбы. Поэтому, Герцен, ссылаясь на отсутствие у него «исключительной системы или духа партии», отказывался связывать осуществление «права на землю» с каким-либо определенным методом действия. «Средства осуществления бесконечно различны, которое изберется — в этом поэтический каприз истории, — мешать ему неучтиво»⁴. Это Герцен писал 1 ноября [18]58 года (мы просим запомнить эту дату, ибо к ней нам придется вернуться в связи с изложением точки зрения Чернышевского), а ровно через год, 1 ноября [18]59 г., он

ставил на вид начинавшему волноваться студенчеству — «великий пример <...> крестьянского мира, ожидающего в величавом покое уничтожения позорного рабства». В этом сказывается уже знакомая нам идея Герцена о том, что реализация его требований возможна и желательна особым путем, путем «государственной санкции народному понятию».

Таким-то образом «право на землю», поднятое до высоты социалистического принципа, объявленное «новым словом», которое должна была внести Россия в «нерешенный спор» Запада, на деле отрывалось от своих корней, улетучивалось в облака абстракции, теряло свое значение принципа действий того класса, интересы которого пытались формулировать, санкционировало «величавый покой» ожидания и узаконяло тот «каприз истории», который передал его судьбу в руки его врагов.

Единственный принцип Герцена, в котором сказались тенденции решительной и катастрофической борьбы с крепостничеством, выступая в реакционно-утопической оболочке, терял всякое возбудительное или просветительное значение в деятельности Герцена и его друзей. «Социалистическая» фразеология, таким образом, лишь скрывала существо дела. А оно — и на это мы обращаем специальное внимание читателя — заключалось в том, что Герцен колебался между либерально-бюрократическим и последовательно-демократическим решением вопроса об «освобождении». В этом именно, а не в чем-либо другом лежит существо его позиции.

Герцен был одним из наиболее блестящих критических умов конца первой и начала второй половины XIX столетия. Не было ни одной традиционной «ценности», ни одной формулы, ни одного авторитета, перед которым бы остановился его критический ум. Единственное, перед чем он останавливался, единственное, что он действительно ценил и чему хотел служить, был социализм. Самое его разочарование в путях Западной Европы было разочарование в утопическом социализме, обратной стороной которого (т. е. разочарования) было искание *научного* социализма.

Между тем субъективная приверженность А. И. Герцена к социализму, преломляясь в русской действительности

того времени, дала несколько неожиданные плоды. По отношению к этой действительности А. Герцен-социалист стал консерваторм в социальных вопросах, Герцен — ярый враг деспотизма — стал умеренным либералом с явным уклоном в сторону либеральной бюрократии, а единственный его принцип, выражавший по существу требования крестьянской массы, потерял всякое активное значение.

В конце своей деятельности Герцен не раз принужден был с глубокой горечью констатировать, что история не идет предначертанной им дорогой. «Досадно,— писал он,— что история идет такими грязными и глухими проселками».

В этом своем действительном ходе история создавала на двух противоположных полюсах две, в корне друг другу враждебные, классовые идеологии: дворянский, помещичий либерализм, с одной стороны, и радикальный демократизм, выражавший интересы крестьянства,— с другой. Эти течения должны были резко столкнуться и, конечно, А. Герцен на деле должен был оказаться ближе к первому, чем ко второму. К этому столкновению «брульонов», «змей» и «желчевиков»⁵,— так характеризовала либеральная мысль (Кавелин, Тургенев, Герцен) представителей демократии и в первую очередь Чернышевского,— с либерализмом в его различных оттенках, мы теперь и перейдем.

<...>

1911

